

БРОНИСЛАВ ТАБАЧНИКОВ

ИСТОРИЯ НРАВОВ И ЛЮДЕЙ

ГЛАВЫ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ



ЛЕГЕНДА О «ЯРОСЛАВСКОМ ДЕСАНТЕ»

В Воронеже я оказался в сентябре 1963 года по приглашению профессора ВГУ Лазаря Борисовича Генкина, который был моим научным руководителем в Ярославском пединституте.

Сам Генкин появился здесь чуть раньше, когда я еще служил в армии. Поводом тому послужили сразу несколько обстоятельств. Прежде всего, тогдашний декан исторического факультета ВГУ Анатолий Евсеевич Москаленко – лидер воронежских славистов, оставивший осязаемый след в развитии исторического образования в Воронеже, – в один судьбоносный день был вызван в Москву, где в министерстве ему прямо сказали: исторический факультет в Воронежском университете закрываем, поскольку там нет ни одного профессора. «Кто у вас учит студентов?! – гремел какой-то министерский чин. – И что эти студенты знают после такого обучения?»

Москаленко поклялся исправить ситуацию в самое ближайшее время. Со всей присущей ему энергией он начал искать профессоров по вузам Советского Союза, готовых срочно переехать в Воронеж. Первым из таковых и оказался Лазарь Борисович Генкин, у которого к тому времени в Ярославле сложилась достаточно непростая ситуация.

Дело в том, что ректором Ярославского пединститута стал оголтелый антисемит с говорящей фамилией Пилатов, который начал просто выживать профессора Генкина из стен вуза. И тут последовало приглашение из Воронежа, которое Лазарь Борисович сразу же принял. Кстати, этот Пилатов, на-

сколько я знаю, не успокоился и после этого. Когда ректор ВГУ Б. И. Михантьев написал ему письмо с просьбой о переводе Генкина в Воронеж, ярославский ректор демагогично заявил, что «этот вопрос не может быть решен без согласия министерства». Вот так!

Но, слава богу, в министерстве люди были поумнее, и с 1 сентября 1962 года Л. Б. Генкин стал профессором исторического факультета ВГУ.

Кстати, Лазарь Борисович был не единственным ярославцем, перебравшимся в те годы в Воронеж, что даже дало повод для слухов о некоем «ярославском десанте», высадившемся в столице Черноземья.

На самом деле никакого десанта, конечно, не было. А была просто цепь совпадений.

В 1963 году в ВГУ приехал молодой и очень талантливый лингвист Вадим Федорович Поляков. Он выпускник все того же Ярославского пединститута (учился на три курса младше, чем я, но на факультете РГФ), год проработал в Мурманской области и вот теперь, узнав, что в ВГУ тоже открылся факультет РГФ, приехал сюда работать (а кадров на РГФ ВГУ в первые годы не хватало катастрофически!).

И мы с ним в Воронеже случайно встретились. Конечно, очень обрадовались, тем более что роднила нас не только alma mater, но и ярославское радио, где мы с Вадимом начинали работать под руководством знаменитого в тех краях редактора Анны Андреевны Гогучевой. Позже Вадим Поляков перетянул в Воронеж своего младшего брата Сергея (более известного как Сэм), окончившего здесь тот же факультет РГФ и ставшего одним из ярких актеров Театра миниатюр ВГУ.

В 1962 году вернулся из Шебекина, куда он попал по распределению, еще один ярославец, сыграв-



Анатолий Гафарович Абдулаев

ший в духовной истории Воронежа огромную роль – Лев Ефремович Кройчик. Его я в ту пору еще не знал, а вот маму его, замечательного врача Дору Мойсеевну Парташникову, прекрасно помнил по Ярославлю. Никогда не забуду, как, увидев меня, она воскликнула: «Ой, как вы мне сына напоминаете!..» Но Кройчик в Воронеж именно вернулся: город этот он знал еще с 1950-х годов, когда учился здесь на истфилфаке ВГУ.

Ну и, конечно же, Абдулаев. Замечательный Анатолий Гафарович Абдулаев – народный артист России, любимец воронежской публики сразу нескольких поколений.

История моего знакомства с ним, думаю, будет любопытна читателям.

Конец 1950-х годов был, помнится, временем тотального дефицита. Из Москвы в Ярославль, где я тогда обитал, жители древнего города на Верхней Волге везли всё – от спичек, соли и мыла до сахара, круп и муки, не говоря уже о мясных продуктах.

В такой неординарной ситуации случилось маленькое чудо. Всё тот же мой научный наставник Лазарь Борисович Генкин, каким-то непостижимым образом (человек он был скромный и к той жизни мало приспособленный) ухитрился приобрести холодильник. Хороший и почти исправный агрегат. В этом «почти» и была загвоздка. Холодильник поработал-поработал и – стал. «Слава, помогите найти мастера», – попросил меня шеф.

Добрые люди, каковых я знал немало в городе своей юности, познакомили меня с учеником мастера по ремонту холодильных установок – живым, шустрым и смешливым малым. Звали его Толя Абдулаев. Он пришел, холодильник починил, и я ему на прощание сказал: «Да ты, брат, артист!» Посмеялись тогда ещё по этому поводу...

А через некоторое время в знаменитом Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова открылась

студия. Туда успешно сдал экзамены и поступил этот самый мастер по ремонту холодильников Анатолий Абдулаев. Учился он у моих друзей – народного артиста СССР Сергея Константиновича Тихонова и его жены Натальи Ивановны Терентьевой, скончавшейся в 2019 году в возрасте почти 95 лет. Кстати говоря, их сын Никита в 1974 году окончил юрфак ВГУ, потом поступил на режиссерские курсы ГИТИСа. Сейчас он – режиссер-постановщик многих документальных фильмов на телеканале «Культура»...

В 1966 году состоялся первый выпуск той театральной студии. Три ее выпускника – Анатолий Абдулаев, Валерка Блинов и Ольга Юзенкова (будущая Грецова) – приехали по распределению в Воронеж, где Борис Абрамович Наравцевич создавал новый ТЮЗ.

Так мы и встретились. Уже в Воронеже.

На протяжении последующих почти пятидесяти лет (Анатолий Гафарович покинул этот мир в 2012 году) у нас с Абдулаевым было множество встреч, разговоров, застолий, и, сколько ни силось, не могу вспомнить ни одной царапины в наших отношениях.

Что было тому причиной? Думаю, прежде всего особенности характера Анатолия Гафаровича, по-восточному (даром, что никогда на Востоке не жил, а только имел отца-таджика) гибкого, мягкого, редко неагрессивного. Он, сколько помню, спокойно реагировал на критику, никогда не пытался с пеной у рта оспорить мнение оппонента, предпочитая доказывать и отстаивать свое кредо только работой – бесчисленным количеством ролей, режиссерскими и педагогическими опытами, искрометным авторским и актерским участием в «капустниках», издательскими проектами...

Давно и не нами сказано: сцена – увеличительное стекло, через которое можно увидеть не только

разнообразные грани роли, но и сущностные черты характера самого актера. От природы Анатолий был добрым, приветливым, располагающим к себе человеком. Отсюда огромное количество друзей, товарищей, приятелей, хороших знакомых из разных социальных кругов – от коллег по театральному цеху до продавцов на рынке. Для каждого он умел найти доброе слово, шутку, байку, анекдот.

Однако пуще всего свет душевной доброты и благорасположенности к людям виден был в его ролях. Вспомним хотя бы его работу в спектаклях Камерного театра, где он играл с момента его основания. Вот блистательно воплощенный характер князя К. в «Дядюшкином сне» Достоевского. С восхитительной фантазией, удивительной пластической изощренностью высмеивал актер преглуповатые заморочки старого бонвивана. Но сколько мягкости и сочувствия было во всем этом. А неожиданно экспрессивная бабулька из «Калеки с острова Инишмаан» и, наконец, совершенно феерический Сторож из одноименной пьесы Г. Пинтера, в котором было всё: убийственное разоблачение воинствующей пошлости, забубённой усредненности и химерических претензий на исключительность. Но даже в таких характерах Абдулаев искал и находил крупинцы добра.

И это лишь малая часть того, что сделал артист за годы работы в ТЮЗе и на сцене Камерного театра. Соединение скоморошества с исповедальностью, острой гротесковости с мягкой задушевностью не только грани артистического дарования, но и сама суть художественного и человеческого явления по имени Анатолий Абдулаев.

Одного из того самого «ярославского десанта», которого на самом деле, конечно же, не было.

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В НАУКЕ И ЖИЗНИ

Воронеж с первого взгляда показался мне хорошим городом, чем-то напоминавшим мой родной Днепропетровск. Город, слывший столицей Черноземья, утопал в зелени и выглядел гораздо теплее Ярославля, в котором холодно было восемь месяцев в году. Об этом я думал, когда ехал от старого аэропорта в центр, где располагался университет...

Экзамены я сдал на «отлично», и 15 декабря 1963 года был зачислен в аспирантуру к профессору Л. Б. Генкину. Почти сразу зашла речь о теме диссертации. И я предложил шефу заняться русско-польскими социал-демократическими связями. «О! Это интересно», – ответил Лазарь Борисович.

Тему я выбрал неслучайно, – тому тоже предшествовала своя история.

Когда-то, еще в студенчестве, я попал в польский городок Поронин. Мы, несколько студентов-историков из Советского Союза, поехали туда на экскурсию по ленинским местам. А в Поронине два лета – 1913 и 1914-го годов – жил Владимир Ильич. В городке нас неожиданно встретила группа из трех человек – сотрудников центрального партархива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Они обрадовались нам несказанно: «Ребята, вы же историки?! А ну-ка помогите разобраться документы».

Эта документация оказалась сущим кладом.

Дело в том, что накануне в Поронине был обнаружен целый сундук ленинских архивов, о которых вообще никто до этого не знал. И я оказался в команде, которая впервые эти архивы разбирала и систематизировала. Иными словами, когда я предложил своему руководителю тему для диссертации, то приблизительно уже знал, о чем пойдет речь.

Дом-музей В. И. Ленина в Поронине
и почтовая марка СССР,
посвященная пребыванию
вождя мирового пролетариата
в этом местечке



Польша, кстати, всегда занимала особое место в моей жизни. И причина тому – отнюдь не польское имя Бронислав, которым меня нарекли родители. Мою бабушку по линии отца звали Бронислава. Она умерла еще до моего рождения, в 1929 году. А у евреев есть обычай: называть новорожденных в память ушедших родственников. Вот и меня нарекли в память о бабушке, и к Польше это не имеет никакого отношения.

А вот история моей первой любви связана с этой страной напрямую.

Дело было так.

1957 год. Мой отец со своей женой Полиной Савельевной (мамы к тому времени уже давно не было на свете) отдыхали в Джубге, в роскошном санатории Центросоюза. Они получили туда путевки. Мы с моим двоюродным братом Иосифом Набутовским, отработав, как сейчас говорят, волонтерами на Московском международном фестивале студентов, решил махнуть к ним в этот санаторий.

И вышло так, что в то же время там, в Джубге, отдыхал глава польского Центросоюза, некто Зигмунд Янчик с красавицей дочерью Терезой.

И я в нее влюбился сразу и – по уши. Роман развивался стремительно: год мы переписывались, на следующее лето я приехал в Поронин: мы встречались и уже обговаривали какие-то планы на совместную жизнь. А потом всё оборвалось...

От нее перестали приходиться письма. Я мучился, переживал, в конце концов вновь добился поездки в Польшу: научная командировка, ленинские места...

Идти сразу к ней домой не рискнул: мало ли, вдруг Тереза уже замужем? Нахожу организацию, наподобие нашего адресного бюро. Протягиваю польке, которая сидит в окошке, блок дорогих советских сигарет и говорю: «Помогите, пожалуйста, найти девушку по имени Тереза Янчик».

Та женщина смотрит на меня долго-долго, а потом и говорит: «Пан давно был в Варшаве?» «Да вот уже, – отвечаю, – несколько лет, как не был». Тогда она грустно так сообщает: «Должна огорчить пана: Тереза умерла».

Я бросаюсь к телефону, звоню ее отцу (он меня помнил по санаторию в Джубге). И тот, рыдая, мне всё рассказал. У Терезы был рак крови, и она скончалась молодой и красивой...

И вот то юношеское чувство к Терезе Янчик, оно как-то определило особый мой душевный интерес к ее родине, что дает мне право говорить полякам: «Polska zawsze była przedmiotem mojego podziwu». То есть: «Польша всегда была предметом моего восхищения».

Я свободно изъясняюсь по-польски. Выучить этот язык мне не составило труда. Кстати, примерно

сорок процентов лексики украинской и польской – идентичны. А украинский язык я знал с детства. Остальные шестьдесят процентов лексики я освоил в период романа с Терезой, так что уже недели через две после приезда к ней в Польшу говорил на этом языке «як звірюка».

Позже изучил и грамматику, и свободно читал лекции по-польски в *Ягеллонском университете в Кракове*, профессором которого состоял десять лет. Три раза в году я приезжал в Краков, читал в этом потрясающем университете, основанном еще в XIV веке, разные курсы, но главный – «Проблемы Центральной и Юго-Восточной Европы».

Словом, Польша прочно вошла в мою жизнь благодаря уникальным ленинским архивам и истории первой любви...

Но вернемся к моим аспирантским годам. Профессор Л. Б. Генкин одобрил мою польскую тему неслучайно. Она была абсолютно новаторской. Российско-польскими социал-демократическими связями в тот период никто не занимался, и Воронежский университет оказался пионером в этом направлении.

Я с головой ушел в работу: начал собирать и систематизировать материал.

Как вы понимаете, в Воронеже никаких документов по интересующей меня теме не было. Поэтому здесь в аспирантские годы я жил лишь наездами, приуроченными в основном к студенческим «Вёснам», в которых ваш покорный слуга активно участвовал.

Остальное же время я проводил в Москве и Ленинграде – архивы, книгохранилища, библиотеки. Между прочим, в Главном архивном управлении мне помогал разыскивать документы по теме никто иной, как Дмитрий Трофимович Шепилов. Тот самый, кто поддержал Молотова, Маленкова и Кагановича в борьбе с генсеком Хрущевым на пленуме ЦК в 1957 году, после чего он стал известным всей стране по фразе «...и примкнувший к ним Шепилов».

Ко времени нашего знакомства Дмитрий Трофимович был исключен из партии и работал старшим археографом в Главном архивном управлении. Мы ходили с ним обедать в столовую этого заведения, общались, и он помогал мне, как мог...

В общем, отучился я в аспирантуре успешно и сразу же защитился. Произошло это 22 декабря 1966 года. Работа была отмечена в Институте славяноведения Академии наук СССР, с представителями которого я вскоре подружился. Когда в 1970 году к столетию В. И. Ленина там готовили коллективную монографию о вожде мирового пролетариата, то включили в нее и мою статью, написанную на основе диссертации.

Забегая вперед на многие годы, скажу, что благодаря всё той же польской проблематике я стал профессором, не будучи доктором наук.

В 1986 году Институт славяноведения издал солидную монографию «Общественная мысль и общественное движение на польских землях в конце XIX – начале XX века». Там было несколько глав, написанных мной, что оказалось вполне достаточным, чтобы избрать меня профессором.

Как это происходило – мне потом рассказали в лицах.

29 ноября 1991 года (именно эта дата указана в профессорском дипломе). Идет обсуждение моей кандидатуры на президиуме ВАКа. Заседание ведет председатель Государственного комитета СССР по образованию Геннадий Алексеевич Ягодин. Какой-то особо рьяный деятель начинает бузить: «Да, работ у Табачникова много, но ведь он же всё про Ленина в Польше писал...»

Ягодин его выслушивает и спокойно так замечает: «Вы мне скажите – я же не историк – Ленин в Польше был?» Отвечают: «Был». Ягодин спрашивает дальше: «Связи социал-демократические в связи с этим у наших стран были?». – «Конечно, были», – говорят ему. Ягодин идет дальше: «Табачников пишет об этом квалифицировано?». – «Ну, в научном смысле, да», – признает оппонент. «Тогда о чем речь? – подводит черту председатель. – Голосуем: кто „за“».

Так я стал профессором.

Причем последним профессором Советского Союза.

10 декабря 1991 года Госкомитет по образованию был упразднен.

ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ И НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

После защиты диссертации я вернулся в Ярославль. Там у меня была семья – жена и дочка. Женился, когда служил в армии. Получил отпуск, приехал в Ярославль и предложил создать семью девушке, которая училась на математическом факультете моего родного пединститута (ее однокурсником был Владимир Дмитриевич Шадриков, который в самом конце 1990-х недолгое время был министром образования России).

Это была очень красивая девушка и невероятно способная – хорошо готовила, быстро соображала, но вот характер... Как говаривал мой батюшка, «по эмоциям она за один день проживает сразу три».

Из-за этого у нас отношения довольно быстро начали портиться. Но я продолжал надеяться, что,

может быть, еще сладится у нас – дочка же растет, всё еще можно поправить.

Словом, получаю диплом кандидата наук и возвращаюсь в Ярославль. А там меня встречает Лев Владимирович Сретенский, декан моего родного истфилфака, только что ставший ректором. Обнимает, поздравляет и настойчиво зовет на работу в пединститут.

Соглашаюсь.

И вот только я начал работать, как меня стал бомбардировать телеграммами и письмами из Воронежа Владимир Васильевич Гусев, тогдашний декан исторического факультета ВГУ. И во всех его посланиях одна и та же просьба – срочно приезжай!

Проходит время. Склеить семейные отношения не получается, начинается окончательный разлад, и всё идет к разводу.

Может, правда, уехать в Воронеж?

Иду с сомнениями к Сретенскому. Тому самому, кто еще полгода назад буквально умолял меня, чтобы я у него работал. И вот теперь чувствую, с какой радостью, с каким энтузиазмом он хватается за возможность избавиться от меня и буквально выпихивает из института.

Я в недоумении. Что случилось? Почему? Я же только начал преподавать, и даже если бы захотел чего-то натворить, не успел бы...

Оставляю семью и в недоумении уезжаю в Воронеж.

Здесь меня принимают с распростертыми объятиями, тут же устраивают на работу в университет, дают маленькую комнатку в общежитии № 1 на улице Энгельса.

Начинаю преподавать. Гусев доволен: я активен, статьи у меня выходят в столичных журналах. Но вот проходит где-то год, и я вдруг начинаю ощущать, что отношение Гусева ко мне переменялось. Та же история, что и со Сретенским в Ярославле: декан всё чаще и чаще дает понять, что если бы я ушел из университета, это было бы самое хорошее для всех...

Сейчас, вспоминая о том непросто для меня времени, понимаю, что со всеми нами тогда происходило. Закончился период хрущевского либерализма, наступали очередные заморозки, и кто-то большой и очень важный там, на вершине власти, дал на места новую установку: не засорять ряды преподавателей лицами еврейского происхождения.

А у того же Владимира Васильевича Гусева с младых ногтей была мечта стать ректором, и поэтому он всегда очень внимательно слушал, что говорят в обкоме партии. Слушал и исполнял. В результате с истфака ВГУ постепенно вынуждены были уйти

А. И. Немировский, Б. Я. Табачников, Е. Г. Шуляковский...

Правда, процесс этот был не столь стремителен, как на математическом факультете, где химик В. П. Мелешко, став ректором, в мгновение разогнал почти всю знаменитую школу профессора М. А. Красносельского. На истфаке расправа растянулась на несколько лет. Я, к примеру, вынужден был уйти с факультета только в 1979 году.

Что удерживало меня от решения сделать это раньше? Прежде всего потрясающая интеллектуальная среда, с которой я столкнулся в университете, и люди, эту среду создающие.

Тот же Валентин Сидорович Рахманин, о котором я уже рассказывал на страницах «Университетской площади» (№ 9, 2016). Познакомился я с ним еще в аспирантуре. Мои соседи по общежитию – молодые преподаватели с факультета РГФ – позвали меня на диспут. Обсуждался, помнится, вопрос: как читать нашим студентам иностранную литературу – на языке оригинала или на русском? И выступали Алла Борисовна Ботникова, Илья Яковлевич Фурман и Рахманин, который был тогда проректором. Их дискуссия произвела на меня глубочайшее впечатление. Это были интеллектуальные, глубокие, интересные люди, мыслящие нестандартно. И что меня особенно порадовало – без социальной демагогии, которая в те годы была невероятной!

К счастью, такие люди были и на истфаке. Об одном из них – Валентине Федоровиче Смирнове – расскажу особо.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ДРУГЕ

...Осенний Воронеж всегда мил. Спадает летняя жара, дни становятся короче и свежее. Вечерами народ торопится к домашним очагам, телевизорам, к посиделкам в дружеском кругу. А мне, молодому преподавателю исторического факультета ВГУ, только что принятому на кафедру истории нового и новейшего времени, торопиться было незачем. Семьи не было, телевизора тоже, был только архискромный пенальчик – комнатка в общежитии университета.

Я только-только начал свой педагогический путь, ясно осознавая, что, хотя ты, братец, и защитил кандидатскую диссертацию, но серьезного багажа для работы в студенческой аудитории у тебя мало. Ох, и прав был покойный Владимир Ильич, наставляя в первую очередь, полагаю, молодых педагогов: «Учиться, учиться и еще раз учиться».

Но как и у кого? Конечно, книги всегда под рукой и фундаментальная библиотека ВГУ тоже рядом. Но ведь так дорого живое слово, возможность спросить у того, кто старше, опытнее, да и знает, не в пример тебе, больше.

И здесь мне сказочно повезло. Как-то так само собой получилось, что рядом оказался человек, который однажды предложил мне пройтись по вечернему, быстро пустеющему городу, проводить его домой тихими улицами, свободными в предвечерний час от суетной толчеи, потолковать о том, о сём. И начались эти, едва ли не ежедневные, прогулки. Разве что проливной дождь мог им помешать, а температура воздуха значения практически не имела, поскольку необычайно высоким был градус общения.

Человек тот был сдержан, хотя знал удивительно много и судить мог почти обо всем, что интересовало нас обоих: от последних успехов или неудач любимого нами футбольного ЦСКА до взлетов современной философской мысли в родных пенатах и за рубежом.

Как вы поняли, это и был Валентин Федорович Смирнов. В ту пору – молодой преподаватель.

Его детство и отрочество прошли в небольшом рабочем поселке Грибановка, что на юго-востоке Воронежской области (впрочем, один год из школьной жизни он провел в русской школе в Польше, где служил его отец), но, несмотря на это, Валентин был удивительно емко осведомлен о литературных и музыкальных новинках, о достижениях современной науки в широком диапазоне ее областей, о проблемах экономического и социокультурного развития и о многом-многом другом, чего сейчас и не упомянешь. При этом был скуп на слова и эмоции, но зато за каждой фразой, произнесенной им, билась живая и зачастую неординарная мысль.

Его начитанность и умение ориентироваться в книжно-гуманитарном мире впечатляли до изумления. Казалось, нет такой новинки по истории, философии или литературоведению, которую не удерживала бы его цепкая память. Смирнов свободно оперировал именами, фамилиями, названиями книг и журнальных статей (разумеется, в историко-гуманитарной сфере). Невозможно было представить, чтобы этот человек говорил о каких-то пустяках, сплетничал или беспрерывно балагурил. И это притом, что тонкое чувство юмора, смеховая природа вообще были ему и близки, и приятны. Просто умение контролировать себя в любых ситуациях, интеллигентная сдержанность и забытое теперь благородство манер превалировали надо всем остальным.

...Постепенно я узнал, что через некоторое время после окончания ВГУ Валентин поступил в аспирантуру к патриарху воронежской исторической школы Илье Николаевичу Бороздину, который обратил внимание на юношу, когда тот был еще на первом курсе. По всей вероятности, маститый ученый, почувствовав в начинающем исследователе основательность философской, исторической и общекультурной подготовки, посоветовал ему заняться младогегельянством, по сути, историей возникновения и становления марксистской общественной мысли.

Знаете, я почему-то убежден, что Карл Маркс, чтобы о нем ни писали и ни говорили сегодня, навсегда останется в истории мировой общественной мысли одним из титанов XIX века. Не всё в его многогранном учении выдержало проверку временем, но главные постулаты марксовой доктрины, развитие Эдуардом Бернштейном, Карлом Каутским, Георгием Плехановым, до сих пор остаются ярким примером анализа и предвидения самых существенных социально-экономических процессов дня вчерашнего и дня сегодняшнего. О чем говорить, если даже покойный папа римский Иоанн Павел II признавал: «В марксизме есть ядро истины».

...Возвращаясь в те, уже далекие годы, вспоминаю следующую свою ступень знакомства с В. Ф. Смирновым. Глубокой осенью на историческом факультете, как правило, проводили научные чтения памяти профессора Бороздина. В том памятном для меня 1967 году одним из докладчиков был Валентин Смирнов. Сообщение его было достаточно кратким, в пределах получаса, и посвящалось одной из сторон биографии Гегеля. Меня заинтересовала сама по себе постановка вопроса на стыке философии и истории. Нынче интердисциплинарными исследованиями никого не удивишь. Тогда это было внове. Аудитория воспринимала оратора с большим вниманием, поскольку говорил он спокойно, вдумчиво, с искренней убежденностью, и слово его, на что я обратил внимание, было абсолютно адекватно мысли. Само сообщение, как мне показалось, идеально соответствовало подлинно научным стандартам: свободное владение новейшим историографическим материалом на русском, немецком и французском языках, внушительный корпус источников и вполне удавшаяся попытка их глубокой интерпретации.

Столь высокий научный уровень не мог, естественно, не наложить отпечаток на ежедневную педагогическую работу. Студентам-историкам Валентин Фёдорович читал профилирующие курсы новой



Валентин Федорович Смирнов

истории, вел совершенно уникальный спецкурс методологии истории, работал ежегодно с полудюжиной дипломников, начинавших в его же специальных семинарах по германистике.

Обращала на себя внимание этическая сторона его педагогической практики, отличительной, быть может, даже главной чертой которой было глубокое уважение к личности студента. Со всеми и всегда он был ровен и корректен, никогда и ни в каких случаях не повышал голос. Невозможно было представить Валентина бранящимся или просто не в меру громко разговаривающим. Не могу припомнить случая, когда бы он утратил контроль над собой и своим, поверьте мне, недюжинным внутренним темпераментом. Лекции его были глубоки по содержанию и отточены по форме, поскольку и в науке, и в преподавании он стремился дойти до самой сути, всесторонне обосновать и концептуально раскрыть проблему, показать ее различные грани и при этом не уйти от персоналий и живых подробностей исторического процесса.

В его педагогической речи не было пафосности, он никогда не прибегал к эффектным ораторским приемам; внутренней его природе чужда была жестикауляция, поза, пьедестализация собственной личности. Взамен всей этой мишуры он предлагал аудитории совершенно свободное (да еще с каким запасом!) владение лекционным материалом, уме-

ние методически точно и абсолютно логично этот материал выстроить. Прибавьте к тому весьма солидный культурологический тезаурус (в постсоветские времена он читал в ВГУ культурологию), и вы легко представите себе обаятельно-скромный облик В. Ф. Смирнова – педагога, исключительно полезного, если не сказать идеального, работника высшей школы, подлинно университетского образца. Все это, конечно же, покоряло аудиторию, и, насколько я помню, в любые времена Валентин Фёдорович всегда был в числе лучших лекторов исторического факультета.

Наука и педагогическая деятельность были его призванием, его, фигурально выражаясь, негасимой любовью на протяжении жизни. Именно поэтому он самостоятельно выучил немецкий язык, собрал воистину уникальную литературно-историческую библиотеку и был на протяжении всей своей тридцатипятилетней педагогической практики в потрясающей историографической форме. Я больше не встречал человека, который с такой свободой владел огромной информацией о том, что происходит в исторической науке, кто и над чем работает в ее разных областях, какие издания уже вышли или готовятся к выходу.

Благодаря этому с ним легко (и вместе с тем весьма напряженно!) работалось доброй сотне его дипломников, всегда представлявших работы не только глубоко содержательные, но отмеченные какой-то особой научной изысканностью, стиливой целостностью, разнообразием источников.

Один из его аспирантов – Павел Васильевич Макаренко (ныне доцент кафедры философии Воронежского лесотехнического университета), – вспоминая годы, проведенные рядом с Учителем, назвал их самым счастливым временем своей научной карьеры.

И здесь возникает, по существу, главный вопрос. Что В. Ф. Смирнов хотел поведать городу и миру, скрупулезно занимаясь германскими исследованиями, тщательно постигая немецкую классическую философию и связанную с ней тысячью нитями германскую историю вообще и историю возникновения марксизма в частности? Он ведь никогда не гнался ни за званиями (трижды готовую кандидатскую диссертацию, и ту защитил в начале пятого десятка своей жизни), ни за должностями, да вообще ни за чем не гнался, а просто жил естественно, как внутренне свободный и раскрепощенный человек. Выступая на его кандидатской защите 27 декабря 1975 года, В. В. Гусев, помнится, заметил: «есть люди, и таких немало, которые всю жизнь гоняются

за степенями, а здесь, надо же, степень наконец-то сама догнала Валентина Фёдоровича...»

Так в чем же все-таки скрытый от взора людей смысл этой жизни, глубинная и сокровенная суть содеянного?

Я думаю, что Валентину всегда хотелось проверить подлинность настоящего прошлым и при этом заглянуть в будущее. Тщательно изучая взгляды Б. Бауэра, А. Руге, А. Цешковского, И. Г. Фихте и Л. Фейербаха, вникая в самую суть исполинской системы Гегеля, он пытался в своем научном творчестве проникнуть в тайну человеческого существования в предлагаемых обстоятельствах всечеловеческого социума. Напряженная интеллектуальная работа была для него важнейшей составляющей бытия, и это представлялось главным в истории младогегельянства, в истории марксизма. «Поиск разумной действительности – одна из основных задач младогегельянской философии». Вот тезис, который Валентин Фёдорович Смирнов развивал в своих немногочисленных, но замечательно глубоких и богатых содержанием работах. Проблема развития самосознания в историческом процессе – не это ли один из главнейших факторов всего человеческого развития?! В высшей степени интересная историко-философская проблема, огромная по своим масштабам, гуманистическая по всему своему складу, уникальная по богатству и разнообразию источников, стала альфой и омегой его научных исканий.

Смирнову приходилось преодолевать немало трудностей. Отрыв от научного руководителя (после смерти И. Н. Бороздина им стал Ефим Павлович Кандель, работавший в Москве, в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), уость источниковой базы в Воронеже, большая учебная нагрузка, редкостный идеологический пресс тотального давления на всех, кто так или иначе касался проблем общественной мысли. Здесь партийные установки, за выполнением которых недреманно следил Комитет госбезопасности, были абсолютно незыблемыми. Схоластически-абстрактный ленинский тезис, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» возводили в абсолют. Сколько же нужно было подлинного научного умения, чтобы с минимальными потерями пройти между Сциллой партийного догматизма и Харибдой верности истинно научному и нефальсифицированному знанию! Потерь в этом путешествии было немало, и не говорить об этом – значит грешить против истины. Однако глубина проникновения в суть проблемы являлась столь значительной, а научные намерения настолько серьез-

ными, что в конечном счете преодолевалось и это, далеко не простое препятствие.

В заключение лучшего своего исследования (а таковым я считаю его кандидатскую диссертацию «Основные тенденции и проблемы в изучении младогегельянского движения») Валентин писал: «Фейербах поставил человека в центр младогегельянской философии, провозгласив, что все рассуждения о праве, о свободе, о личности помимо человека являются “рассуждениями” без субстанции, без основания, без реальности. Сущность и задачи мировой истории, вытекающие из гуманизма, сводились к преодолению эгоизма и к победе альтруизма, человеческой любви».

Мой друг и товарищ по университетской кафедре Валентин Фёдорович Смирнов был человеком сильного характера и глубокого ума. Он умел остро чувствовать и переживать, умел любить жену, детей, своих немногочисленных друзей. И, конечно же, науку, которая отвечала ему полной взаимностью.

ЭНЕРГИЯ КАК ВЫЗОВ

Когда я начинал работать на истфаке, там уже было два доктора наук: вслед за Л. Б. Генкиным в Воронеж из Казани приехал Иван Митрофанович Климов. Это был честный и незлопамятный человек, но по интеллектуальному уровню он заметно уступал Лазарю Борисовичу. Обороты климовской речи, звучавшие в аудиториях, нередко становились поводом для студенческих насмешек: «Лекции выдающихся лекторов надо слышать». Или – «26 бАкинских коммиссара и шОфер» и т. д.

Потом защитил докторскую А. И. Немировский. Причем эта защита стала событием не только на факультете, но и вообще в науке. Александр Иосифович был талантливейшей личностью.

При этом человеком он был очень переменчивым. Мог, очаровавшись очередным аспирантом, подойти с восторженным возгласом: «О, это же новый Ломоносов! Бронислав Яковлевич, помогите ему...» Проходило полтора года, и тот же Немировский с негодованием говорил о том же аспиранте: «Это такой негодяй! Гнать его надо!»... Сегодня подобное его поведение представляется мне оборотной стороной, которая есть у любого настоящего таланта.

В те годы на факультете было четыре кафедры: истории СССР досоветского периода (ею руководил Л. Б. Генкин, а я там работал аспирантом), советского периода (там заправлял И. М. Климов), новой и новейшей истории (здесь главным был Петр Михайлович Гапонов) и истории древнего мира и средних

веков (ею заведовал Сергей Нестерович Бенклиев, который, между прочим, сыграл большую роль во время эвакуации университета в Елабугу в годы войны).

В целом был очень недурной уровень преподавания, и студенты – солидные ребята, за плечами многих из которых остались армейские годы.

Работало на факультете и достаточно мощное заочное отделение, где армейцев было еще больше, а тяга к знаниям у них – еще сильнее.

Но вот при всем при этом всячески подчеркивалось: наш факультет – идеологический. В. В. Гусев, помнится, одно время носился с несурзадной идеей, которую я вообще на дух не переносил, – идеологизация учебного процесса. Об этом он говорил на каждом углу. И когда он об этом говорил, я всегда думал: как можно идеологизировать, к примеру, закон Паскаля? Или вот: был на филфаке замечательный ученый Толя Ломов, который как раз в те годы защитил диссертацию по русским глаголам («Глагольные конструкции с зависимым членом в функции объекта»). Как это можно идеологизировать? Бред какой-то!

Но Гусев упорно твердил об идеологизации. Известный писатель Владимир Шаров, окончивший в свое время истфак ВГУ, в своих воспоминаниях рассказал, как Гусев его доставал – как же так, мол, ты не комсомолец, а у нас факультет идеологический? Из-за этого Шаров и учился на заочном отделении.

Кстати, о Шарове. На его курсе я читал историю новейшего времени. Володя обращал на себя внимание сразу: великолепно говорил, отлично соображал. На экзамене я послушал его буквально три минуты: «Идите, – говорю, – пятерка». Потом встретились в университетских коридорах, пообщались, он мне какие-то комплементы высказал. А когда приехал на следующую сессию, то даже привез мне книгу отца – писателя Александра Шарова.

Спустя какое-то время узнаю, что Володя Шаров женился на дочери Владимира Ароновича Дунаевского и Елены Викторовны Чистяковой, которые преподавали на истфаке ВГУ в начале 1950-х годов. Владимир Аронович (мы, кстати, с ним земляки – он тоже родом из Днепропетровска) приезжал в Воронеж и позже: был на госэкзаменах председателем комиссии, в работе которой участвовал и я. Так что эту семью я очень хорошо знаю и глубоко уважаю...

Моим студентом был и главный историк ВГУ профессор Михаил Дмитриевич Карпачёв. Он был в языковой спецгруппе, которая училась в университете шесть лет. И вот на шестом его курсе я, по поручению Лазаря Борисовича, вел в этой группе преддипломный семинар.

В том же 1968 году, в котором Карпачёв получил диплом, мне было поручено поехать со студентами на практику в ленинградские и московские архивы и музеи. А Карпачёва на эту практику отправили со мной – помощником.

Когда вернулись, Л. Б. Генкин спрашивает: «Слава, кого в аспирантуру брать?» Я сразу ему говорю: «Карпачёв – первоклассный парень». Но оказалось, что Лазарю Борисовичу уже что-то напели про Мишу. Была там такая мастерица этого дела – Варвара Александровна Попова. Вот она что-то такое плохое сказала про Карпачёва. Я это всё выслушал и говорю: «Лазарь Борисович, вот поверьте мне, это – потрясающий парень. Ему дано, как немногим. Во-первых, у него научный склад ума, а во-вторых, он умеет интересно рассказывать... Это будет первоклассный ученый и лектор, гордость факультета». И Генкин взял Михаила Дмитриевича в аспирантуру.

К слову, на практики в Ленинград и Москву я возил студентов еще много лет. Помню, что самое тяжелое было – договориться, чтобы ребят расселили. В Ленинграде иногда приходилось до Смольного доходить, а в Москве обычно все решалось на приеме у ректора МГУ академика Ивана Георгиевича Петровского.

А потом я встретил в Москве одного мужика родом из Нижнедевицка. Он был проректором по хозяйству в Финансово-экономическом институте, который находится в самом центре столицы. После этого проблема с расселением воронежских студентов была решена: я привозил этому проректору дары родины, и у меня все ребята жили, как боги...

Вообще, сначала я вел себя на факультете достаточно активно: всё время что-то придумывал, что-то старался сделать новое, необычное... Я жил естественной жизнью, делал то, что считал нужным делать... Но вот потихоньку я стал ощущать, что всё это мало кому нужно. Вся моя активность оценивается на истфаке в основном одной сакраментальной фразой – «а чё он лезет?!» Что бы я ни делал, что бы ни предлагал, – за спиной сразу начинала звучать эта фраза. Постепенно она заполняла всё больше и больше пространства вокруг меня. «А чё он лезет!»

Это мешало работе. Очень!

Подошло время, и мне потребовалось съездить в Польшу, на сей раз для завершения докторской диссертации. Не отпустили ни под каким видом.

Прихожу к проректору по науке Якову Александровичу Угаю, чтобы узнать: в чем причина? Тот по простоте душевной выдает: «Так говорят, что у вас работ научных нету...» Я онемел. «Яков Александрович, – придя в себя, говорю ему, – когда вы може-

те принять меня завтра?» «Приходите в час дня», – отвечает Угай.

Дома набиваю полный портфель с одними только своими публикациями в самом престижном в СССР историческом журнале «Вопросы истории». Прихожу в назначенное время в кабинет к Угаю. Начинаю разгружать портфель прямо ему на стол.

Он всё это видит. И, конечно, уровень издания производит на него глубокое впечатление. Угай пошел по кабинетам, стал рассказывать о моих публикациях, но... Нет, сказали ему, и всё!

«А чё он лезет!»

Атмосфера недоброжелательности, открытой и скрытой зависти окружала меня на факультете всё плотнее и плотнее.

Вот еще один случай.

Однажды меня попросили поехать в Поворинский район и прочитать там лекцию о международном положении. Почему бы нет, таких просьб было немало, и я всегда легко откликался на них.

Добираться до Поворино нужно было ночным поездом. Приезжаю рано утром, устраиваюсь в гостинице. Лекция у меня вечером в клубе. Днем иду в школу, беседую там с учителями, прихожу в класс на урок... А после вечерней лекции тороплюсь на ночной поезд, поскольку на следующий день у меня занятия уже в Воронеже, в университете.

Заранее прихожу в клуб, а там товарищ из райкома партии. Спрашивает: не буду ли я возражать, чтобы после моей лекции выступили воронежские поэты? Киваю головой: пожалуйста.

Одним из тех поэтов был известный не столько стихами, сколько скандалами Паша Мелёхин, фамилию другого я по простествию времени уже и не упомяну. До поры до времени они расположились за сценой.

Начинаю читать лекцию. Смотрю, естественно, в зал, а что там у меня за спиной происходит – не вижу.

Проходит примерно час, получаю из зала записку: «Товарищ лектор, не могли бы вы унять пьяных людей за вашей спиной». Оборачиваюсь, а эти ребята – в дупель уже. В ду-пе-ль!

Я что-то им сказал, они вроде успокоились. Лекция закончилась, я собрал вещи – и на поезд...

Проходит два дня. Меня вызывает Гусев: «Слушай, ты, говорят, был в Поворино и крепко там напился?» Думаю – шутит, поэтому тоже пробую юморить: «Ага, а потом еще одеяла утащил из гостиницы...» А Гусев строго: «Ты не шути, мне звонил по этому поводу сам Головин» (это зав. отделом пропаганды и агитации обкома партии). Тогда отвечаю уже без всяких шуток: «На лекции было полно наро-

ду, поэтому выяснить – правда это или нет – можно в одну секунду».

В это время Анатолий Павлович Дьяков, работавший тогда в отделе науки и образования обкома партии, получает такую же телегу на меня по своим каналам. Отдаю ему должное: Дьяков тут же связался с первым секретарем Поворинского райкома партии по фамилии Лысенко и задал ему только один вопрос: «У вас Табачников был?» «О! – отвечает тот, – конечно, был. Мы ему так благодарны, он такой замечательный парень...» Анатолий Павлович его обрывает и говорит: «Над этим парнем сгущаются тучи. Дай по ВЧ срочную телеграмму на железную дорогу, они нам сразу принесут».

А Головин (тот, который из отдела пропаганды) уже позвонил в «Коммуну» и дал команду, чтобы про меня в номер написали фельетон. Борис Подкопаев, тогдашний ответственный секретарь газеты, звонит мне: «Слушай, тут из обкома принесли донос на тебя». А у меня уже нервы на пределе. «Ну что же, – отвечаю, – печатай!» «Да нет, такого, о чем тут пишут, просто не может быть. Я не верю», – говорит Борис.

И вот в это самое время по ВЧ приходит телеграмма из района: большое спасибо, замечательная лекция, прекрасный лектор...

И все умылись. Не получилось у них пнуть меня.

А скандал на самом деле был. Паша Мелёхин со своим товарищем, после того как я ушел из клуба, вышли на сцену и сотворили там чего-то такое, что слух об их «подвигах» мгновенно долетел до Воронежа. Ну а здесь уже кто-то решил связать тот скандал с моим именем...

Сейчас, спустя десятилетия, оглядываясь назад, думаю: с чего всё это началось?

Неужели – с этого?

Сидим как-то на кафедре, приходит гонец из ректората и говорит, мол, принято решение, что каждая кафедра должна иметь резерв. Зав. кафедрой новой и новейшей истории профессор П. М. Гапонов молчит. Человек от ректора спрашивает его напрямую: «Петр Михайлович, вот вы заболете, кто будет заведовать кафедрой?» «Ну как кто? – спокойно отвечает Гапонов. – Конечно, Табачников».

Он назвал мою фамилию, а не Гусева, который был тут же и, думаю, запомнил это.

А может быть, произошло что-то другое, о чем я до сих пор не знаю?

Открыто на меня Гусев никогда не нападал. Но в итоге именно он сделал всё, чтобы сорвать мою командировку в Польшу для защиты докторской. Всячески поддерживал настроения против меня, даже когда я уже ушел с факультета...

В 2002-м, не дожив года до своего семидесятилетия, умер Валентин Федорович Смирнов. Он был моим другом и единомышленником, и на конференцию его памяти я подготовил доклад «Конституционализм Соединенных Штатов и Франции. Опыт и сравнительная характеристика». Гусев знал это и не дал мне выступить.

Но всё же я бесконечно благодарен именно ему – Владимиру Васильевичу Гусеву. За то, что далекой осенью 1963 года он круто поменял мою жизнь, поманив в Воронеж. Здесь я окупился в плотную интеллектуальную среду, встретил замечательных людей, одаривших меня искренним дружеским расположением.

В Воронеже я остался навсегда. Здесь родились мои дети и внуки, здесь состоялась жизнь.

Я себя никогда не считал видным деятелем науки. Нет у меня крупных открытий, которые есть, к примеру, у моих коллег по факультету А. И. Немировского, А. Д. Пряхина и М. Д. Карпачёва. Но у меня другое призвание – просветительское: работа со студентами, приобщение их к знаниям, к культуре. От этого я всегда получал огромное удовольствие. К счастью, взаимное, в чем убеждался неоднократно – встречаясь, созваниваясь, списываясь со своими бывшими студентами.

А от обид и сплетен, которые случались, да и случаются по жизни, у меня есть свой талисман.

Мой учитель Лазарь Борисович Генкин умер 2 июля 1970 года. Всего за несколько дней до этого мы сидели вместе с ним на защите дипломов. И он прислал мне записку: «Слава! А у вас много дипломников и все – толковые. Я вас поздравляю!»

Эта предсмертная записка Учителя для меня – как завещание.

И как свидетельство того, что я состоялся в профессии.

И никакие сплетни не смогли перевесить этих нескольких слов на клочке бумаги.